



Рождественские рассказы

русских
писателей

Рождество приходит к нам

Сборник

**Рождественские рассказы
русских писателей**

«РИПОЛ Классик»

2017

УДК 82-32
ББК 94.3

Сборник

Рождественские рассказы русских писателей / Сборник —
«РИПОЛ Классик», 2017 — (Рождество приходит к нам)

ISBN 978-5-386-10282-1

Когда мороз рисует на окнах волшебные узоры, на дорожках загадочно блестит снег, а улицы наряжаются в яркие гирлянды, люди празднуют самые светлые и чудесные праздники – Рождество и Новый год. В эти дни особенно хочется порадовать родных и близких приятными подарками! Окунитесь в атмосферу праздника, почувствуйте особую теплоту и радость, поверьте в волшебство и в доброту людей с этим замечательным сборником рассказов русских писателей!

УДК 82-32
ББК 94.3

ISBN 978-5-386-10282-1

© Сборник, 2017
© РИПОЛ Классик, 2017

Содержание

Ф.М. Достоевский	8
I. Мальчик с ручкой	9
II. Мальчик у Христа на елке	10
Н.П. Вагнер	13
I	14
II	16
III	18
IV	21
Д.В. Григорович	23
I	24
II	28
III	29
IV	32
V	35
VI	39
VII	41
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Рождественские рассказы русских писателей



РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
РАССКАЗЫ
РУССКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ

*Допущено к распространению Издательским советом Русской Православной Церкви ИС
Р17-714-0549*



РИПОЛ
КЛАССИК

© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2017

Ф.М. Достоевский
Мальчик у Христа на елке



I. Мальчик с ручкой



Дети странный народ, они снятся и мерещатся. Перед елкой и в самую елку перед Рождеством я все встречал на улице, на известном углу, одного мальчишку, никак не более как лет семи. В страшный мороз он был одет почти по-летнему, но шея у него была обвязана каким-то старьем, – значит, его все же кто-то снаряжал, посылая. Он ходил «с ручкой»; это технический термин, значит – просить милостыню. Термин выдумали сами эти мальчики. Таких, как он, множество, они вертятся на вашей дороге и завывают что-то заученное; но этот не завывал и говорил как-то невинно и непривычно и доверчиво смотрел мне в глаза, – стало быть, лишь начинал профессию. На расспросы мои он сообщил, что у него сестра, сидит без работы, больная; может, и правда, но только я узнал потом, что этих мальчишек тьма-тьмуца: их высылают «с ручкой» хотя бы в самый страшный мороз, и если ничего не наберут, то наверно их ждут побои. Набрав копеек, мальчик возвращается с красными, окоченевшими руками в какой-нибудь подвал, где пьянствует какая-нибудь шайка халатников, из тех самых, которые, «забастовав на фабрике под воскресенье в субботу, возвращаются вновь на работу не ранее как в среду вечером». Там, в подвалах, пьянствуют с ними их голодные и битые жены, тут же пищат голодные грудные их дети. Водка, и грязь, и разврат, а главное, водка. С набранными копейками мальчишку тотчас же посылают в кабаки, и он приносит еще вина. В забаву и ему иногда нальют в рот косушку и хохочут, когда он, с пресекшимся дыханием, упадет чуть не без памяти на пол,

...и в рот мне водку скверную
Безжалостно вливал...

Когда он подрастет, его поскорее сбывают куда-нибудь на фабрику, но все, что он зарабатывает, он опять обязан приносить к халатникам, а те опять пропивают. Но уж и до фабрики эти дети становятся совершенными преступниками. Они бродяжат по городу и знают такие места в разных подвалах, в которые можно пролезть и где можно переночевать незаметно. Один из них ночевал несколько ночей сряду у одного дворника в какой-то корзине, и тот его так и не замечал. Само собою, становятся воришками. Воровство обращается в страсть даже у восьмилетних детей, иногда даже без всякого сознания о преступности действия. Под конец переносят все – голод, холод, побои, – только за одно, за свободу, и убегают от своих халатников бродяжить уже от себя. Это дикое существо не понимает иногда ничего, ни где он живет, ни какой он нации, есть ли Бог, есть ли государь; даже такие передают об них вещи, что невероятно слышать, и, однакоже, все факты.

II. Мальчик у Христа на елке

Но я романист, и, кажется, одну «историю» сам сочинил. Почему я пишу: «кажется», ведь я сам знаю наверно, что сочинил, но мне все мерещится, что это где-то и когда-то случилось, именно это случилось как раз накануне Рождества, в каком-то огромном городе и в ужасный мороз.

Мерещится мне, был в подвале мальчик, но еще очень маленький, лет шести или даже менее. Этот мальчик проснулся утром в сыром и холодном подвале. Одет он был в какой-то халатик и дрожал. Дыхание его вылетало белым паром, и он, сидя в углу на сундуке, от скуки нарочно пускал этот пар изо рта и забавлялся, смотря, как он вылетает. Но ему очень хотелось кушать. Он несколько раз с утра подходил к нарам, где на тонкой, как блин, подстилке и на каком-то узле под головой вместо подушки лежала больная мать его. Как она здесь очутилась? Должно быть, приехала с своим мальчиком из чужого города и вдруг захворала. Хозяйку углов захватили еще два дня тому в полицию; жильцы разбрелись, дело праздничное, а оставшийся один халатник уже целые сутки лежал мертво пьяный, не дождавшись и праздника. В другом углу комнаты стонала от ревматизма какая-то восьмидесятилетняя старушонка, жившая когда-то и где-то в няньках, а теперь помиравшая одиноко, охая, брюзжа и ворча на мальчика, так что он уже стал бояться подходить к ее углу близко. Напиться-то он где-то достал в сенях, но корочки нигде не нашел и раз в десятый уже подходил разбудить свою маму. Жутко стало ему, наконец, в темноте: давно уже начался вечер, а огня не зажигали. Ощупав лицо мамы, он подивился, что она совсем не двигается и стала такая же холодная, как стена. «Очень уж здесь холодно», – подумал он, постоял немного, бессознательно забыв свою руку на плече покойницы, потомдохнул на свои пальчики, чтоб отогреть их, и вдруг, нашарив на нарах свой картузишко, потихоньку, ощупью, пошел из подвала. Он еще бы и раньше пошел, да все боялся вверху, на лестнице, большой собаки, которая выла весь день у соседских дверей. Но собаки уже не было, и он вдруг вышел на улицу.

Господи, какой город! Никогда еще он не видал ничего такого. Там, откуда он приехал, по ночам такой черный мрак, один фонарь на всю улицу. Деревянные низенькие домишки запираются ставнями; на улице, чуть смеркнется – никого, все затворяются по домам, и только завывают целые стаи собак, сотни и тысячи их, воют и лают всю ночь. Но там было зато так тепло и ему давали кушать, а здесь – господи, кабы покушать! И какой здесь стук и гром, какой свет и люди, лошади и кареты, и мороз, мороз! Мерзлый пар валит от загнанных лошадей, из жарко дышащих морд их; сквозь рыхлый снег звенят об камни подковы, и все так толкаются, и, господи, так хочется поест, хоть бы кусочек какой-нибудь, и так больно стало вдруг пальчикам. Мимо прошел блюститель порядка и отвернулся, чтоб не заметить мальчика.

Вот и опять улица, – ох какая широкая! Вот здесь так раздавят наверно; как они все кричат, бегут и едут, а свету-то, свету-то! А это что? Ух, какое большое стекло, а за стеклом комната, а в комнате дерево до потолка; это елка, а на елке сколько огней, сколько золотых бумажек и яблоков, а кругом тут же куколки, маленькие лошадки; а по комнате бегают дети, нарядные, чистенькие, смеются и играют, и едят, и пьют что-то. Вот эта девочка начала с мальчиком танцевать, какая хорошенькая девочка! Вот и музыка, сквозь стекло слышно. Глядит мальчик, дивится, уж и смеется, а у него болят уже пальчики и на ножках, а на руках стали совсем красные, уж не сгибаются и больно пошевелить. И вдруг вспомнил мальчик про то, что у него так болят пальчики, заплакал и побежал дальше, и вот опять видит он сквозь другое стекло комнату, опять там деревья, но на столах пироги, всякие – миндальные, красные, желтые, и сидят там четыре богатые барыни, а кто придет, они тому дают пироги, а отворяется дверь поминутно, входит к ним с улицы много господ. Подкрался мальчик, отворил вдруг дверь и вошел. Ух, как на него закричали и замахали! Одна барыня подошла поскорее и сунула

ему в руку копеечку, а сама отворила ему дверь на улицу. Как он испугался! А копеечка тут же выкатилась и зазвенела по ступенькам: не мог он согнуть свои красные пальчики и придержать ее. Выбежал мальчик и пошел поскорей-поскорей, а куда, сам не знает. Хочется ему опять заплакать, да уж боится, и бежит, бежит и на ручки дует. И тоска берет его, потому что стало ему вдруг так одиноко и жутко, и вдруг, господи! Да что ж это опять такое? Стоят люди толпой и дивятся: на окне за стеклом три куклы, маленькие, разодетые в красные и зеленые платица и совсем-совсем как живые! Какой-то старичок сидит и будто бы играет на большой скрипке, два других стоят тут же и играют на маленьких скрипочках, и в такт качают головками, и друг на друга смотрят, и губы у них шевелятся, говорят, совсем говорят, – только вот из-за стекла не слышно. И подумал сперва мальчик, что они живые, а как догадался совсем, что это куколки, – вдруг рассмеялся. Никогда он не видал таких куколок и не знал, что такие есть! И плакать-то ему хочется, но так смешно-смешно на куколок. Вдруг ему почудилось, что сзади его кто-то схватил за халатик: большой злой мальчик стоял подле и вдруг треснул его по голове, сорвал картуз, а сам снизу поддал ему ножкой. Покатился мальчик наземь, тут закричали, обомлел он, вскочил и бежать-бежать, и вдруг забежал сам не знает куда, в подворотню, на чужой двор, – и присел за дровами: «Тут не сыщут, да и темно».

Присел он и скорчился, а сам отдышаться не может от страха и вдруг, совсем вдруг, стало так ему хорошо: ручки и ножки вдруг перестали болеть и стало так тепло, так тепло, как на печке; вот он весь вздрогнул: ах, да ведь он было заснул! Как хорошо тут заснуть: «Посижу здесь и пойду опять посмотреть на куколок, – подумал мальчик и усмехнулся, вспомнив про них, – совсем как живые!..» И вдруг ему послышалось, что над ним запела его мама песенку. «Мама, я сплю, ах, как тут спать хорошо!»

– Пойдем ко мне на елку, мальчик, – прошептал над ним вдруг тихий голос.

Он подумал было, что это все его мама, но нет, не она; кто же это его позвал, он не видит, но кто-то нагнулся над ним и обнял его в темноте, а он протянул ему руку и... и вдруг, – о, какой свет! О, какая елка! Да и не елка это, он и не видал еще таких деревьев! Где это он теперь: все блестит, все сияет и кругом все куколки, – но нет, это все мальчики и девочки, только такие светлые, все они кружатся около него, летают, все они целуют его, берут его, несут с собою, да и сам он летит, и видит он: смотрит его мама и смеется на него радостно.

– Мама! Мама! Ах, как хорошо тут, мама! – кричит ей мальчик, и опять целуется с детьми, и хочется ему рассказать им поскорее про тех куколок за стеклом. – Кто вы, мальчики? Кто вы, девочки? – спрашивает он, смеясь и любя их.

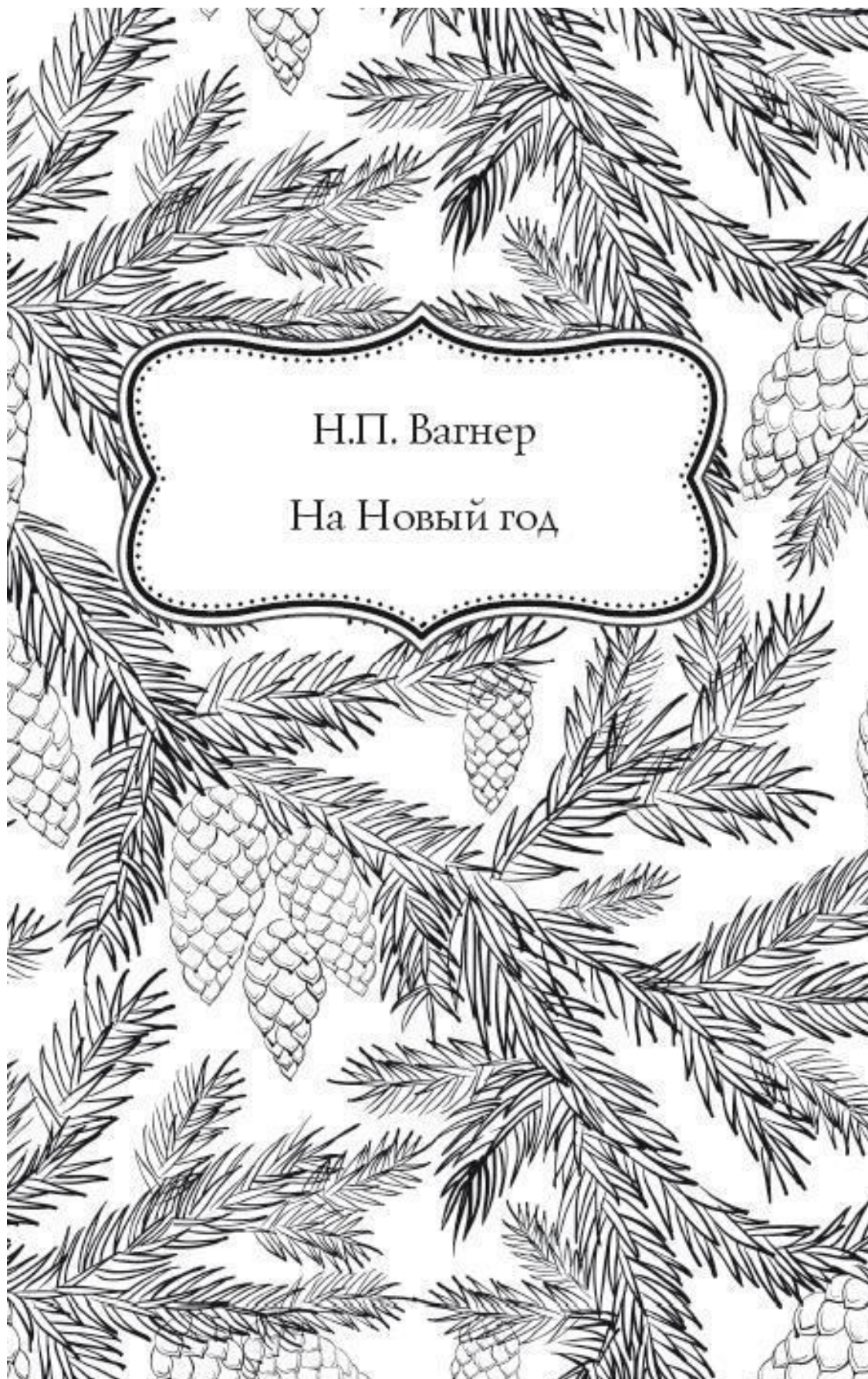
– Это «Христова елка», – отвечают они ему. – У Христа всегда в этот день елка для маленьких деточек, у которых там нет своей елки... – И узнал он, что мальчики эти и девочки все были все такие же, как он, дети, но одни замерзли еще в своих корзинах, в которых их подкинули на лестницы к дверям петербургских чиновников, другие задохлись у чухонки, от воспитательного дома на прокормлении, третьи умерли у иссохшей груди своих матерей, во время самарского голода, четвертые задохлись в вагонах третьего класса от смраду, и все-то они теперь здесь, все они теперь как ангелы, все у Христа, и он сам посреди их, и простирает к ним руки, и благословляет их и их грешных матерей... А матери этих детей все стоят тут же, в сторонке, и плачут; каждая узнает своего мальчика или девочку, а они подлетают к ним и целуют их, утирают им слезы своими ручками и упрашивают их не плакать, потому что им здесь так хорошо...

А внизу наутро дворники нашли маленький трупик забежавшего и замерзшего за дровами мальчика; разыскали и его маму... Та умерла еще прежде его; оба свиделись у Господа Бога в небе.

И зачем же я сочинил такую историю, так не идущую в обыкновенный разумный дневник, да еще писателя? А еще обещал рассказы преимущественно о событиях действительных! Но вот в том-то и дело, мне все кажется и мерещится, что все это могло случиться действительно, –

то есть то, что происходило в подвале и за дровами, а там об елке у Христа – уж и не знаю, как вам сказать, могло ли оно случиться, или нет? На то я и романист, чтоб выдумывать.

Н.П. Вагнер
На Новый год



I



С Новым годом! С Новым годом! И все веселы и рады его рождению.

Он родился ровно в полночь! Когда старый год – седой, дряхлый старикашка – укладывается спать в темный архив истории, тогда Новый год только, только что открывает свои младенческие глаза и на весь мир смотрит с улыбкой.

И все ему рады, веселы, счастливы и довольны. Все поздравляют друг друга, все говорят: «С Новым годом! С Новым годом!»

Он родится при громе музыки, при ярком свете ламп и канделябр. Пробки хлопают! Вино льется в бокалы, и всем весело, все чокаются бокалами и говорят:

– С Новым годом! С Новым годом!

А утром, когда румяное, морозное солнце Нового года заблестит миллионами бриллиантовых искорок на тротуарах, домах, лошадях, вывесках, деревьях; когда розовый нарядный дым полетит из всех труб, а розовый пар из всех морд и ртов, – тогда весь город засуетится, забегает. Заскрипят, покатаются кареты во все стороны, полетят санки, завизжат полозья на лощеном снегу. Все поедут, побегут друг к другу поздравлять с рождением Нового года.

Вот большая широкая улица! По тротуарам взад и вперед снует народ. Медленно, важно проходят теплые шубы с бобровыми воротниками. Бегут шинелишки и заплатанные пальтишки. Мерной, скорой поступью – в ногу: раз, два, раз, два – бегут, маршируют бравые солдатики.

Вот между народа бежит и старушонка, а с ней трое деток. Старший сынок в маленьком обдерганном тулупчике без воротника и в протертых валенках бежит впереди, подпрыгивает, подплясывает и то и дело хватает за уши – бегут, бегут, скрип, скрип, скрип.

– Мороз лютой, погоняй не стой!.. Бежим, matka, бежим!

– Бежим, касатик, бежим, родной. Мороз лютой, погоняй не стой!.. Господи Иисусе! – Бежим, Гришутка, бежим, лапушка!..

И Гришутка торопится, пыхтит, семенит ножонками. Скрип, скрип, скрип... От земли чуть видно. Шубка длинная, не по нем, но его поддерживает сестренка Груша. Поддерживает, а сама все жметса, ежитса. – Похлопает, похлопает ручками в варежках и опять схватит Гришутку за ручку и – побежит, побежит!..

– Мороз лютой, погоняй не стой!..

Но Гришутка не чувствует мороза. Ему тепло, ему жарко. Пар легким облачком вьется около его личика.

И весь он там, еще там, где они были назад тому с полчаса. В больших палатах, где большая, большая лестница уставлена вся статуями и цветами. Там швейцар с большими черными баками, весь в золотых галунах, в треугольной шляпе и с большою палкой.

Там живет сам «его превосходительство», и они ходили поздравлять его с Новым годом.

Каждый Новый год приходит Петровна с детками поздравлять его превосходительство, и каждый раз его превосходительство высылает ей три рубля за верную и усердную службу ее покойного мужа Михеича.

И на этот раз швейцар доложил – и через час выслали с лакеем новенькую, не согнутую трехрублевую бумажку.

Петровна поклонилась, поблагодарила, перекрестилась, дала швейцару двугривенный, на который он посмотрел искоса, подбросил на руке и затем с важностью опустил в жилетный карман.

Все время, пока они стояли в сенях у его превосходительства, Гришутка на все дивовался, все осматривал своими большими черными глазами и поминутно теребил мать за рукав.

– А это, мама, лестница? – лепечет он чуть слышно.

– Лестница, касатик, – шепчет мама.

– А куда она идет?

– Наверх, в комнаты.

– Они тоже большущие?

– Большущие, касатик, большущие.

– А на лестнице это сады рассажены?

– Сады, родименький, сады.

– А между ними, что за куклы большущие, белые, стоят?

– Это для красы, лапушка, для красы.

– А это что, вон там, светлое такое – большущее?

– Это зеркало, касатик, зеркало.

– А это, посреди, из чашки вверх бежит, это что такое, мамонька?

– Это фантал, касатик, фантал... А ты ниш-кни, лапушка, сейчас придут... не хорошо болтать-то...

И Гришутка замолк, но не успокоился. Его черные глаза словно хотели проникнуть насквозь и ковер на лестнице, и медные прутья, которыми он был пристегнут, и лепку на сводах высоких пилястр, и грациозную фигурку сирены, поддерживающей чашу фонтана.

«Вот бы туда посмотреть! – думал он, – в те большущие комнаты, что на верху этой лестницы с куклами. Там, чай, каких чудес нет?..»

И он бежал дорогой и все придумывал, воображая – какие должны быть чудеса на этой большущей лестнице?

– Бежим, бежим, лапушка, замерзнешь, – торопила Груня.

И Гришутка инстинктивно бежал скоро, скоро, скоро. Скрип, скрип, скрип, скрип, скрип!..

II

Прибежали в переулчишко, узенький, дрянненький, в двухэтажный серенький домишко и то на задний двор, чуть не в подвальный этаж; перед грязным, заплесканным крылечком целая гора намерзла грязных помоев. Скатились, точно в яму. Здравствуйте! домой пришли.

– Холодно! голодно!

– Погодите, ребятки, – говорит мать, – теперь у нас есть что поесть и чем погреться. Погодите, родненькие. Сейчас будем с Новым годом. Я духом слетаю, дровец куплю, того, сего.

И действительно, духом слетала. Только по дорожке, на самую чуточку-минуточку в питейный дом завернула и шкалик перепустила, – да тут же рядом в лавочке пряничков, орешков, леденчиков купила и три фунта колбасики вареной, да краюшку решотного, да полфунтика масла промерзлого – чтобы Новый год было масляно встречать.

– Ну! Пташечки-касаточки, вот вам! – И того, и сего, и этого... Груня, клади, matka, живей дровец в печь! Насилу, насилу все-то дотащила.

И Груня положила дровец, растопила печку. Зажарили вареную колбасу в масле. Мать суежилась без отдыха. Груня и Вася помогали ей с усердием. Вскипятили самоварчик, достали с полочки чайник с отбитым носком, с трещинами, чашки полинялые и побурелые. Из сундука вынули сахар в жестяной коробочке и щепотку чаю, бережно завернутую в бумажку. Чай давно уже пахнул кожей и сеном. Впрочем, он и свежий был с тем же самым ароматом.

Только Гришутка не принимал участия в общей хлопотне. Он как сел у замерзлого окошечка, так и не отходил от него. Он хмурился и скоблил ледяные узоры на разбитых окнах. Но, очевидно, машинально скоблил, а его душа и мечты находились там, там – в этих большущих сених с мраморной лестницей, усаженной садами, уставленной большими куклами...

– Гришутка, касатик, дай скину красну рубашечку – да в сундучок спрячу – до праздника. А то, не ровен час, касатик, запачкаешь, упаси Господи!

– Нет, мама, я в ней останусь...

– Запачкаешь, мол, говорю, касатик. – И мать подходит к нему, обнимает и целует – в надежде, что касатик снимет драгоценную рубашечку из красного канауса и плисовые черные шаровары, подарок крестной матери; но касатик положительно возмущается...

– Отстань, мамонька! Говорю: не замай!.. От тебя вон водкой воняет...

– А это я для куражу, для праздничка, лапушка, выпила, – оправдывается мама, быстро вертя рукой около смеющегося, красного, истрескавшегося лица.

– Ну, ладно! Отстань, мамонька, я целый день буду в эвтом ходить, – вот что!

И мамонька отстала. Пуцай его, думает она, уснет младенец, я его, крошечку, раздену, а теперь пуцай пощеголяет, душеньку для праздника потешит.

– На-ко, сахарный, леденчиков да пряничков! – предлагает она.

И сахарный машинально, задумчиво берет леденчики и прянички. Но, очевидно, думы его слаще ему леденчиков и пряничков.

Наелись, напились, – напраздничались. – Пришли гости: кум, да сват, да свояченица, принесли гостинцев.

– С Новым годом, с новым счастьем. Дай Бог благополучно!..

Послали Ваню за полуштофом. Опять поставили самовар, и пошли чаи да рассказы без конца и начала...

Наконец, наговорились, разошлись по домам.

Стемнело. Гришутка припрятал пакет, что мать принесла с пряниками, и в нем с десяток пряничков и леденцов. Как ни тянуло его, он ни один не съел, все припрятал с пакетом, завернув его тщательно, и все держал за пазухой.

– Мамонька! – обратился Гришутка к матери, – а там, там, где мы были, – там долго спать не ложатся?..

– У его превосходительства?.. И-и, касатик медовой, ведь они баре, – сказала она шепотом. – У них ночь заместо дня. Мы давно уже спим, а они до вторых петухов будут сидеть.

– Что ж это они делают, мамонька?!

– А вот что, касатик. Седни вечером у них елка. Большушу, большушу такую елку поставят и всю ее разуберут всякими гостинцами, конфектами, да всю как есть свеченьками уставят. Страсть хорошо! А наверху, на самом верху звезда Христова горит... Таки прелести – что и рассказать нельзя. Вот они, значит, около этой елки все соберутся и пируют.

И Гришутка еще больше задумался. – Большая елка, с Христовой звездой наверху, приняла в его детском все увеличивающем представлении сказочные, чудовищные размеры.

К вечеру matka стала совсем весела. Всех, и Ваню, и Груню, и Гришутку, заставляла плясать и сама прищелкивала и припевала:

Уж я млада, млада сады садила,
Ах! Я милого дружочка поджидала...

Наконец, она совсем стала сонная. Ходила покачиваясь. Все прибирала. Разбила две чашки, расплакалась, свалилась и захрапела.

– Ну, – сказал Ваня сестре. – Теперь матку до завтра не разбудишь. Пойдем за ворота поглазеем. И они, накинув тулупчик и пальтишко, вышли за ворота.

Гришутка остался один.

В комнате совсем стемнело. Он присел около печки в угол, прислонился к ней и думал упорно все об одном и том же. Темная комната перед ним вся освещалась, горела огнями. Чудовищная елка вся убиралась невиданными дивами, и все ярче горела на ней звезда Христова. Наконец воображение устало. Гришутка зевнул, съежился, прислонился ловчее к печке и крепко заснул...

Долго, долго прогуляли Груша с Ваней: бегали на большую улицу, смотрели в окна магазинов, наконец вернулись, и целые клубы пара ворвались с ними в комнату. Он обхватил, разбудил Гришутку.

Весело перешептываясь и смеясь, дети разделись и спать улеглись, – а об Гришутке забыли.

Он тихонько привстал, потянулся. Подождал, пока брат и сестра заснули. Тихо, на цыпочках подошел он к своей шубке. Кое-как надел ее. Надел шапку, варежки, натянул валенки – и тихонько вышел, притворив дверь как мог плотнее.

Черная ночь обхватила его морозным воздухом. В переулке тускло мерцали фонари.

III

Он помнил только, что «его превосходительство» живет на улице, которая называется Большой Проточной, и что в эту улицу надо свернуть с Заречного проспекта.

Вышел он из переулочка на улицу и у первого попавшего «дядюшки» спросил – как ему пройти в Большую Проточную.

– Эх ты, малыш! – сказал дядюшка. – Как же ты эку даль пойдешь? Ступай до угла, а там поверни налево... и все прямо, прямо иди, все так-таки прямо все иди, иди по проспекту-то, а там спроси – укажут, чай, добры люди... Ах ты, малыш, малыш! Смотри через улицу не переходи! Задавят... Да тебя кто послал-то?!

– Никто, дядюшка, я сам, к его пливосходительству иду...

– Сам! – удивился дядюшка и долго смотрел вслед Гришутке, – а он, подобрав шубку, бежал, бежал, как было указано. Пот давно уж капал с его покрасневшегося личика. Он шатался. Ноги ему отказывались служить...

Наконец еле дыша, чуть не плача, подошел он к другому «дядюшке».

– Дяденька! Укажи мне, где Большая Проточная.

Дяденька поглядел на Гришутку, подумал. Нагнулся к нему.

– Считать умеешь?

– Нетути!..

– Нету-ти. Ну, вот что. Смотри, – и он растопырил пальцы. – Вот одна улица, другая, третья. И поверни ты в эту третью. Это и будет Большая Проточная... Понял?

– Понял! – прошептал Гришутка. – И с новыми силами, с новой бодростью в сердце побежал дальше.

Против первой улицы он загнул один пальчик, против второй – загнул другой, в третью повернул. Шел, шел и вот... Да! Действительно, это был он, дом «его превосходительства». Но отчего же перед ним стоят все кареты, кареты?

Гришутка вздохнул полной грудью и поднялся на крыльцо.

С трудом он чуть-чуть отворил и протиснулся в большие дубовые двери с зеркальными стеклами. Отворил он и вторые двери и очутился в сенях.

Газовые лампы ярко горели. В сенях никого не было. Зато в швейцарской направо слышались громкие голоса и смех.

Гришутка подумал, идти ли ему к швейцару, или не идти. Он боялся его большой палки с золотым шаром и больших черных бакенбард. На вешалке висело много шуб. Он скинул тулупчик, свернул его комочком и положил на пол в уголок. Затем вынул из-за пазухи гостинцы – пакетик с леденцами и пряниками – и бодро отправился вверх по мраморной лестнице.

Статуи точно смотрели на него с их пьедесталов; но он, не глядя на них, бойко всходил наверх. Маленькое его сердце колотилось в груди, голова шла кругом.

Наконец он поднялся на высокую лестницу. Там, наверху, все зеркала, зеркала – и он увидал в них себя, увидал свое покрасневшееся личико – с большими черными глазами.

Потом он вошел в первую залу – всю красную, раззолоченную. Пол такой скользкий и блестит как «зеркало». А там, впереди, был шум, говор, детские голоса, детский смех.

Гришутка пошел туда. Он прошел всю длинную залу и подошел к двери. Перед ним была большая, большая белая зала, – и посреди ее большая елка.

Вся она сверху донизу горела и сверкала огоньками! А на самом верху сияла большая, большая звезда Христова.

Кругом елки были дети, много детей в ярких нарядных платьицах. А кругом них стояли господа, барыни... Шум, говор, смех!..

У Гришутки потемнело в глазах. Вся зала покрылась словно туманом и закачалась. Но это было ненадолго. Он вытянул вперед ручонку с гостинцами, плотно прижал другую к груди, к колыхавшемуся сердцу и бодро пошел вперед.

Он подошел прямо к высокому седому господину.

Этот господин и был сам «его превосходительство».

– Ваше пливосходительство! – сказал внятно Гришутка, – вот я пришел с Новым годом вас поздравить. Вот-с и гостинцы!

– Это мне? – спросил его превосходительство.

– Вам, ваше пливосходительство... А мне можно будет поиграть здесь?

Его превосходительство удивленными глазами, не переставая улыбаться, посмотрел на Гришутку, на его доброе, красивое личико с умными большими глазами.

Он смотрел, а сам разворачивал серый пакетик с леденцами и пряниками.

– Да кто же ты? – спросил он с недоумением, оглядываясь кругом.

– Я Гришутка... Мама, знаете, спать легла, и все спать легли. Я все сидел да думал, сидел да думал, как бы мне посмотреть на большую елку. Взял да и пошел один. Спросил сперва одного дяденьку, потом другого дяденьку, – а он растопырил этак руку – вот, говорит, одна улица, а вот другая улица, и там будет третья. Ты в третью-то и ступай...

Большие и малые обступили Гришутку. Нимало не смущаясь, он осматривал всех и продолжал рассказывать.

– Да кто же твоя мама? – спросил его хозяин дома.

– А Петровна... чай, знаете?

– *Quel charmant enfant!* (Какое прелестное дитя), – сказала одна молодая дама. – *Dieu! Quels yeux!* (Какие чудные глаза!)

– Где же живет Петровна? – спросил его превосходительство, обертываясь к дверям залы. У этих дверей стояли несколько слуг и один скоро, скоро подошел к его превосходительству.

– Узнайте, где живет Петровна? – сказал его превосходительство.

И слуга быстро побежал, узнал и доложил, что Петровна живет на Песках, в Глухом переулке.

– Боже мой! и этакую даль ты шел один! – вскричали дамы.

– Тссс! – произнес генерал, покачав головой. – Ну, – сказал он, – Гришутка, теперь пойдем – я тебя, брат, представлю хозяйке дома, – и он повел Гришутку за руку в гостиную, в которой было не так светло и где сидели старые, почтенные дамы.

– Вот, – сказал он, входя в гостиную, – рекомендую вам джентльмена с Песков. Один ночью пришел с Песков сюда, пришел поздравить меня с Новым годом – и вот вам – гостинцы принес... не угодно ли. – Говоря это, он любезно предложил дамам – *les bonbons de Piessky*.

– *Quel délicieux enfant!* – вскричали дамы. – Прелестный ребенок: подойди, душечка, сюда... *Ravissant!*... Как же это ты один шел... И не страшно тебе было?

– Нет, – сказал Гришутка. – Я, знаете, все бежал, бежал так шибко, шибко. Одного дяденьку спрашиваю, где, мол, Заречный проспект, а он говорит: тебя, мол, говорит, кто послал?..

– Да тебе сколько лет-то? Клоп ты с Песков!.. – спросил вдруг его превосходительство.

– Мне семой...

– *Qu'est ce que sa...*; семой – *quel baragouin!*

– Вот, княгиня, – обратилась хозяйка к старой, больной даме. – Вы искали воспитанника. Вот вам сирота, изволите видеть... один в одиннадцатом часу с Песков пришел. Можете вы себе представить... один, один... с Песков пришел.

Княгиня взяла Гришутку за ручку и притянула к себе... Она посмотрела в его личико. Гришутка пристально посмотрел на нее...

– Знаешь что, Гриша, – сказала она, – это не сам ты пришел, а Бог привел тебя... ты любишь Бога?..

– Для-че не любить. Я всех люблю, коли кто добрый. А вот у нас дворник Наумыч, чай, знаете, он злющий, все маму бранит. Я его не люблю.

– А меня будешь любить?

– Тебя-то?

Он пристально посмотрел на добрые, полусонные глаза княгини.

– Ладно. Для-че не любить.

Говоря это, он тщательно рассматривал вышитый ридикюль княгини и кисти его из стального бисера.

– Ну! Гришутка с Песков, – сказал генерал, – пойдем теперь в залу. За твои гостинцы я тебе сам дам гостинца. – И, взявши опять Гришутку за ручку, он привел его к елке.

– Ну, чего хочешь? Выбирай!

Пред Гришуткой запестрели нарядные бонбоньерки, корзиночки, игрушки – все как жар золотом горело и рябило глаза. Но Гришутка твердо помнил одно то, что занимало его целый вечер.

– Мне, дяденька, ваше превосходительство, – сказал он, – Христову звезду дайте.

– Какую Христову звезду? – спросил удивленно его превосходительство.

– Вон, вон, на самой вершинке-то – така, как жар горит!

– Ооо! чего захотел! Самой вершинки захотел. Ах ты, клоп с Песков!.. Да как же я достану до звезды-то Христовой. Видишь, видишь... я еще не дорос до нее...

– А вы, дяденька, ваше превосходительство, велите лестницу принести. Такую большую, у нас есть на Песках така лестница, что по крышам лазают.

– Ха! ха! ха! – засмеялся его превосходительство, и все дети дружно захохотали кругом.

– Ну, я велю принести лестницу, – сказал его превосходительство, – только, думаю, такая лестница и здесь найдется, за ней не надо на Пески ходить.

И он велел принести лестницу.

Принесли ее три лакея и подкатали как раз к елке.

– Ну, – сказал генерал, – Гришутка с Песков, вот тебе и лестница. Теперь, если хочешь, полезай сам и доставай Христову звезду.

И Гришутка бодро кинулся на лестницу. Бойко взошел он на нее. Но ручонка не доставала до звезды.

Не долго думая, он схватил ближайшую ветку и потянул к себе. Несколько свечек упало, несколько золоченых яблоков и орехов полетело вниз; но Гришутка крепко схватился за звезду, изо всех сил потянул ее, и звезда осталась у него в руке.

Высоко подняв звезду над головой, весь красный от волнения, весь дрожа, он начал спускаться с лестницы. Дети и барыни закричали «браво, браво!» и громко захлопали в ладоши.

Гришутка спустился с своим сокровищем.

– Ну, – сказал его превосходительство. – Молодец, Гришутка с Песков! Знаешь ли, что это за звезда?

Гришутка ничего не отвечал. Он тяжело дышал.

– Эта звезда будет твоей путеводной звездой, – понимаешь? – твоей путеводной звездой. Она тебя выведет на дорогу. Береги ее!

IV

Прошло много, много лет.

Давным-давно не стало матери Гриши. Не стало Груни и Васи. Умер его превосходительство и княгиня-воспитательница Гриши, а сам Гриша из Гришутки давно превратился в Григория Васильевича, и сам стал «его превосходительство».

Он даже поселился на Большой Проточной, недалеко от прежнего дома его превосходительства, от того самого дома, в котором он добыл когда-то свою «путеводную звезду».

Он жил в третьем этаже на большой лестнице; на ней также стояли статуи и большие растения. И эта лестница была общая для всех этажей и всех квартирантов.

В квартире была большая передняя и несколько комнат, светлых, чистых и просторных.

У него была добрая старушка жена, три взрослые дочери и две внучки.

Всю жизнь его вела «путеводная звезда» по светлой прямой дороге. Он всю жизнь хлопотал о том, как бы устроить для всех Гришуток приюты, где бы они воспитывались и выходили в люди не по прихоти случая или «путеводной звезды».

Он думал, что придет, наконец, то блаженное время, когда не будет глухих закоулков на разных «Песках» и люди не будут жить в подвальных этажах, подле помойных ям и мерзнуть от холода в зимние морозы.

Он много трудился над этим делом – и теперь почти пятьдесят лет прошло с тех пор, как он в первый раз выступил на эту дорогу.

Много было основано им всяких благотворительных обществ и учреждений, много построено всяких благодетельных зданий и заведений. Но чем более он их строил, тем дальше уходила от него цель, за которой он гонялся, как мальчик за тенью.

Пятьдесят лет тому назад он вышел на смертный бой с тем чудовищем, которое зовут людской бедностью.

Он бился с ним ровно полвека, и что же?.. Чем больше он бился, тем больше вырастало чудовище. Он строил новые учреждения, и новые головы вырастали у чудовища, как у гидры.

Город разросся. Но не исчезли его «Пески» и глухие закоулки. Они только отодвинулись на новые окраины, а в самом центре завелись углы и подвалы – грязные закоулки и разные помойные ямы. Завелись целые приюты нищеты и разврата...

Он чувствовал, как руки его опускались, – он, семидесятилетний старик, – чувствовал, что борьба кончилась, что победило его страшное чудовище.

Грустный, испуганный сидел он один в своем кабинете, накануне Нового года, опустив на руки свою седую голову.

А в зале раздавались веселые голоса, детский смех.

Но ничего не слышал он. Не сводя глаз, он смотрел прямо, упорно, и глаза его в ужасе раскрывались шире и шире.

Перед ним стояло отвратительное чудовище – грязное, худое. Оно дрожало от холоду и едва ворочало коснеющим языком. Его костлявое тело выглядывало из множества дыр обдерганного, обтрепанного рубища.

А сзади его, смеясь, самодовольно шло другое чудовище, еще более отвратительное, – чудовище, страшное своей бесчеловечностью и силой. Оно хохотало пронзительно – и при этом тряслись его длинные пейсы и остроконечная борода...

Оно шло на смену и было непобедимо...

Нестерпимый ужас охватывал сердце...

– «Путеводная звезда», – шептал он, – «путеводная звезда», куда ты меня привела?!!

И он смотрел с укором на эту «путеводную звезду», на это воспоминание из его далекого детства. Она висела перед ним на стене, обделанная в золотую рамочку.

Но в это время в соседней комнате раздались детские голоса, и в кабинет к нему ворвалась веселая компания.

Впереди всех бежали две его внучки с бокалами в руках, с букетами белых роз.

– С Новым годом, деда, с Новым годом!.. С новым счастьем, – и они обе обхватили его шею...

Подшли дочери, подошла и жена – и обняли его голову.

– С Новым годом, старик! – сказала она, целуя его.

Но старик ничего не ответил... Только горькие слезы тихо катились по его доброму старческому лицу...

Д.В. Григорович
Рождественская ночь



I



Сановник Араратов вышел из клуба в недовольном расположении духа. Он обыкновенно обедал у себя дома и всегда почти с гостями. Каждому из них, за два дня, посылалась с курьером коротенькая полуофициальная записочка, извещавшая о дне и часе обеда с присовокуплением, в чем следует быть одетым: во фраке или запросто в сюртуке. Одни приглашались таким образом для поддержки связей, другие из чувства покровительства или скорее снисхождения, так как слишком уже явно и долго добивались такой чести; – третьи, наконец, удостаивались приглашения потому лишь, что одному скучно было обедать и самый аппетит в таком случае слабее как-то возбуждался. После обеда немедленно садились за карты.

Против этого последнего развлечения, давно и повсеместно заменившего у нас беседу, могут восставать конечно только праздные и легкомысленные люди. В настоящее время деловые лица, – к числу которых принадлежал Араратов, – насилуют свой ум слишком уж напряженно, слишком отверженно; они положительно слишком подавлены, чересчур удручены заботами о пользе дорогого отечества, чтобы утомлять себя еще словопрением и бесцельной болтовней; не естественно ли предпочесть партию в винт, одаренную, как доказано новейшими научными исследованиями, дивным свойством сообщать мозгу полезное отдохновение.

Во всех случаях, впрочем, сановник Араратов, упитывая гастрономически своих гостей и охотно уплачивая повару по двадцати рублей с персоны, чувствовал к ним безразлично полнейшее равнодушие; он пожалел бы дать два рубля доктору за излечение хотя бы одной из этих персон от расстройства в желудке. Известие о внезапной кончине кого-нибудь из них встречало в нем, правда, тягостное чувство; но это происходило больше от того, что оно, во-первых, приводило ему на память мысль о смерти, которую старался он всегда отгонять от себя; во-вторых: заставляло его изменять на время привычному ходу жизни; – заставляло ездить на панихиды, присутствовать на похоронах, иногда в холодное или сырое время, и т. д.

Мы не ошибемся, кажется, если скажем, что лица, приглашаемые сановником, вполне разделяли в свою очередь такие же точно чувства к гостеприимному хозяину.

Араратов решил обедать в клубе потому собственно, что в этот день, именно 24 декабря, из круга его знакомых, все без исключения, придерживались старинного, быть может, весьма, почтенного, но тем не менее, по мнению Араратова, крайне ограниченного, узкого, рутинного обычая – непременно обедать в своих семействах, в семьях родственников и вообще самых близких друзей и знакомых.

Он остался, как мы говорили, весьма недоволен клубом. Начать с того, там, как нарочно, собралась все какая-то мелюзга; обед был также из рук вон плох; к закуске подавался какой-то форшмак из печенок налимов с поджаренным луком, который до сих пор производил изжогу под ложечкой. Относясь всегда крайне заботливо к процессу собственного пищеварения, он просидел там один час, сыграл от нечего делать партию в винт, выиграл что-то и рад был наконец, когда мог выйти на свежий воздух.

Отправив домой кучера, ждавшего с каретой у подъезда, Араратов пошел пешком.

Но суета, происходившая на улицах, ярко освещенных не только фонарями, но площадками и окнами магазинов, которые в этот вечер остаются открытыми дольше обыкновенного, мало, по-видимому, способствовала приятному развлечению сановника. Это не было то оживление, какое замечается на петербургских улицах в полдень, в дни дворцового торжества, выхода или парада, или вечером, после того как кончаются театральные представления и все спешат, желая поспеть к сроку на бал или раут; или в дни бенефиса какой-нибудь сценической знаменитости, когда то и дело попадаются суетливые личности, озабоченные мыслию занять где-нибудь денег с тем, чтобы в тот же вечер поднести бенефициантке бриллиантовую брошку, фермуар, серебряный сервиз и т. д.; нет, суеты и движения было, может быть, еще больше, только она отличалась более сдержанным, мирным характером; самый повод к оживленности был другого рода: суетились более или менее из-за того, чтобы успеть сделать необходимые покупки к елке или приобрести подарки к следующему дню.

На тротуаре, перед игрушечными магазинами и кондитерскими, было особенно тесно. Араратов останавливался, выпрямлялся во весь рост, выжидал, чтобы путь очистился, при чем брюзгливо выдвигал нижнюю губу и прищуривался, или же обходил место, поглядывая сверху вниз на толпу своими серыми стальными зрачками. В обоих случаях осанка его не утрачивала ни на секунду своей торжественной величавости, лицо, с правильно ниспадавшими седыми бакеннами, сохраняло обычную, сосредоточенную строгость.

При встрече с ним некоторые сторонились, давая ему дорогу, другие оглядывались и невольно замечали по соседству: «Смотри-ка, старик, – а какой еще молодчина, какой важный!» Он же не обращал ни на кого внимания, ни на людей, ни на блестящие окна магазинов, предмет праздного любопытства. Наконец все это ему наскучило; время от времени, к тому же, подымался острый ветерок, мороз усиливался и начинал пощипывать нос и щеки.

Араратов повернул в соседнюю улицу и прямо направился к своему дому. Невдалеке от подъезда услышал он за собой плач ребенка и чей-то надорванный голос. Он машинально замедлил шаг и так же машинально оглянулся через плечо.

При свете фонарей и ближайших окон, освещенных изнутри зажженными елками, увидел он оборванную женщину, державшую на груди ребенка, закутанного в тряпье; свободной: рукой тащила она мальчика лет пяти, шершавые лохмотья и неуклюжая взъерошенная шапка, падавшая на глаза мальчика, придавали ему близкое сходство с медвежонком; ребенок упирался и плакал навзрыд, засовывая пальцы рук в рот, отчего и получались те странные звуки, которые заставили сановника оглянуться.

– Барин-батюшка, – заговорила женщина, обнадеженная движением господина, – подайте на хлеб... Хоть малость какую... Подайте для праздника...

Араратов отвернулся, ускоряя шаг.

– Барин-батюшка, не оставьте меня, бедную... – приставала женщина, – сирот хоть пожалейте... Сутки не евши... Будем за вас Бога молить...

Араратов был известен своей благотворительностью. В течение каждой зимы, чуть ли не ежедневно, посылали ему билеты на всевозможные человеколюбивые предприятия, – концерты, спектакли, базары, чтения, балы, маскарады и проч.; он редко отвечал на них отказом; когда светские благотворительницы являлись к нему на дом, он вручал им денежный конверт с такой любезностью, что они уходили всегда в восторге. Араратов не любил только видеть нищету и бедность; оборванные люди, грязные лица и руки, грубые черты, хриплые голоса, – производили всегда отталкивающее действие на его чувствительные нервы. Признавая нищету неизбежным злом человеческого общества, он в то же время относил появление нищих на улицах столицы к беспорядку, недосмотру, нерадению полицейского управления. Нельзя же в самом деле, чтобы в благоустроенном городе нищие приставали к прохожим, дерзко их останавливали, надоедали им своим попрошайничеством!

Женщина с детьми служила как бы подтверждением, насколько справедлив был такой взгляд.

– Батюшка-барин, – продолжала она приставать с удвоенной настойчивостью, заходя то с одного бока, то с другого, – пожалейте хоть ребят малых... У меня дома таких трое еще осталось... голодные сидят... Взмилуйся хоть для Христова праздника...

Араратов потерял наконец терпенье.

– Если ты не отстанешь, – произнес он на ходу и в полуоборота, – я сей час позову городского!

Но потому ли, что по близости не оказалось в эту минуту хранителя общественного порядка, потому ли, что женщина была в самом деле доведена до крайности, угроза сердитого барина не остановила ее. Она продолжала умолять его, просила дать хоть пятак на хлеб.

Прохожие начинали останавливаться; – этого только недоставало!

Араратов досадливым движением отпахнул край собольей шубки и опустил руку в боковой карман панталон; он вспомнил, что после партии в клубе сунул туда второпях несколько ассигнаций: нащупав одну из них, он не оборачиваясь подал ее женщине, заботясь о том только, чтобы не коснуться как-нибудь ее грязных, быть может, даже больных пальцев.

Минуту спустя очутился он на подъезде своего дома.

В прихожей встретил его старый швейцар, выбежавший из боковой двери, которую второпях забыл закрыть.

– Что у тебя там за свет?... – спросил Араратов, указывая в ту сторону глазами.

Швейцар испуганно метнулся было к незапертой своей двери, но одумался на ходу и, мгновенно вернувшись к барину, приступил к сниманию с него шубки.

– Что там за свет, я спрашиваю, – нетерпеливо повторил Араратов.

– Ел... елка... для детей... – проговорил швейцар, очевидно стараясь выражением лица и голосом оправдать невинность своей затеи.

Не давая ответу швейцара большего внимания, как если б муха прожужжала о своих мушиных интересах, – Араратов стал подыматься по широкой лестнице, установленной тропическими растениями.

Достигнув верхней площадки, он прошел, не останавливаясь и не поворачивая головы, мимо лакея во фраке и белом галстуке и двух остолбеневших курьеров. В доме его заведено было, чтобы прислуга ему не кланялась. – «Что я тебе сват или приятель, что ты мне кланяешься!» – строго заметил он еще на днях вновь поступившему лакею, отвесившему низкий поклон.

С верхнего поворота лестницы открывался ряд парадных комнат; они освещались теперь только с улицы. Иногда отражение от фонарей на проезжавших мимо каретах, пробегаая красноватым пятном по стенам, выдвигало часть зеркала или бронзового канделябра и, быстро мелькнув с противоположного конца по потолку, внезапно освещало золоченые украшения люстры; но это продолжалось секунду; ровный полусвет водворялся снова, и в нем явственно обрисовывалась только высокая фигура самого хозяина, медленно переходившая из одной комнаты в другую.

Он вошел в уборную, где ожидал его камердинер.

На стульях, перед горевшим камином, разложены были в последовательном порядке обычные предметы домашнего туалета.

Камердинер знал до тонкости привычки своего господина, не терпевшего лакейских мудрствований и требовавшего во всем механического, но быстрого исполнения: ни одна складка не должна была беспокоить тела: каждой части одежды следовало предварительно быть тщательно осмотренной, пригнанной, приготовленной таким образом, чтобы нигде не задерживаться, не мешать ей входить как по маслу, не стеснять движений. Если что-нибудь было не так, – Араратов поворачивал только голову, слегка подымал брови, – и этого уже было совер-

шенно достаточно для того, чтобы камердинер сто раз проклял себя внутренне за свою оплошность.

На этот раз операция переодевания прошла благополучно.

– Сказать швейцару, чтоб запер парадный подъезд, – произнес Араратов, – никого не принимать; потушить везде огонь... Можешь идти; ты мне пока не нужен!.. – заключил он, проходя в кабинет.

Самые затейливые театральные превращения ничего решительно не значат перед тем, какое совершилось с камердинером, как только очутился он наедине; его круглое, гладко выбритое лицо, сохранявшее озабоченное, сосредоточенно деловитое выражение, – проявило вдруг признаки самой необузданной радости. До настоящей минуты, он сокрушался мыслию, что придется по обыкновению ждать в уборной, пока барину вздумается лечь в постель, между тем как в это самое время, в нижнем этаже, в отведенном ему помещении, собираются теперь гости и трое его детей заперты в дальней комнате и мучительно томятся в ожидании елки. Камердинер и жена его так уже условились, чтобы до возвращения отца елка не зажигалась ни под каким видом. И вдруг так неожиданно: – «Ты мне пока не нужен!...».

Он скоро-наскоро подбавил угля в камин, потушил свечи, убрал платье и кубарем сбежал по боковой лестнице.

II

– Ну, слава богу, – ждем не дождемся! – встретила его жена, – все уже собрались... тетушка Леоканида Захаровна также здесь... Скорей ступай!

– Сейчас, сейчас!.. – ответил он, подавляя одышку и суетливо входя в довольно просторную комнату, посреди которой, на столе, покрытом салфеткой, возвышалась убранная, но незажженная елка.

Несколько стульев вдоль стен заняты были сидевшими гостями; на почетном месте, посреди дивана, восседала тетушка Леоканида Захаровна, – кастелянша в доме графини Завадской, – дама величественного вида, в кружевном чепце и шали; рядом с нею приютился дядюшка Никанор Савельич, – совсем уже белый как лунь старец, – служивший тридцать пять лет старшим курьером в министерстве финансов. Перед ними на столике красовались тарелки с симметрически разложенными кусочками пастилы, финиками и яблоками. Такими же лакомствами пользовались остальные гости, – но уже с подноса, который любезно подставлял молодой лакей в белом галстуке, – тот самый, что с двумя курьерами встречал Араратова на верхней площадке лестницы.

Дверь соседней комнаты была заперта; за нею раздавались тоненькие детские голоса; они немедленно превратились в восторженные визги, как только в первой комнате послышался голос вошедшего камердинера.

После приветствий и неизбежных троекратных лобызаний в щеки тетушки и бакенбарды дяди, – приступлено было тотчас же к зажиганию елки. Один из гостей, известный весельчак и затейщик, предложил было произвести несколько ударов в медный таз, прежде чем распахнуть дверь, скрывавшую детей, – но предложение было отвергнуто; шум, – боже оборони! – мог быть услышан в кабинете барина! Обиженный несколько, весельчак ограничился тогда энергическим хлопаньем в ладоши, и быстро схватив со стола пару ложек, готовился барабанить ими по краю тарелки, – но и тут должен был остановиться: камердинер и жена его успели уже распахнуть дверь, из которой стремительно выбежали дети, – две хорошенькие девочки и мальчик-карапузик лет четырех, с большой круглой головой и глазами навывкате, – вылитый портрет отца. В противоположность сестрам, которые весело запрыгали вокруг елки, карапузик остановился с разинутым ртом и растопыренными коротенькими ручонками. Величайших трудов стоило отцу, чтобы заставить его поцеловать тетушку и дядю.

Во время этой церемонии весельчак подхватил двух девочек и начал было ходить с приплясом вокруг елки; но и это не совсем ему удалось: не успел он выкинуть двух коленцев, как одна из его подошв встретила обрезок яблочной кожицы, и он с грохотом покатился; девочки вскрикнули и отскочили в сторону; ближайшие лица не успели подхватить весельчака, как уже ноги его до половины туловища скрылись под столом с елкой, чудом каким-то сохранившей равновесие.

К счастью, все окончилось благополучно; весельчака поставили на ноги; он отряхнулся, подражая собаке, выскочившей из воды; новая эта выходка восстановила общую веселость. Почти в то же время показался молодой лакей с подносом, уснащенным чайными чашками, между которыми привлекательно круглился графинчик с ромом; за ним вошла хозяйка дома, с корзиной, наполненной печеньем.

Комната в скором времени представила оживленную картину: дети, наделенные игрушками и лакомствами, шумно играли в одной половине, между тем как в другой. – где уже к разогретому воздуху чувствительно примешивался запах рома, – шла одушевленная беседа, приправляемая взрывами хохота, всякий раз, когда весельчак изображал, как гуляет франт с тросточкой по Невскому проспекту, как на заре мычит корова, или рассказывал какой-нибудь анекдот игривого свойства.

III

В то время как в квартире камердинера всем было так привольно и весело, за стеною этого самого дома в соседнем переулке происходила сцена совсем другого рода.

При свете ближайшего фонаря легко было узнать ту самую женщину с детьми, которая час тому назад приставала к сановнику. Она стояла неподалеку от ворот его дома и то приближалась к ним, – причем всякий раз боязливо оглядывалась по сторонам, – то вдруг круто поворачивала назад и торопливо удалялась. Ее, очевидно, что-то сильно озабочивало; это выражалось между прочим ее невниманием к мальчику, который часто начинал плакать, жалуясь на холод; раза два она нетерпеливо даже дернула его за руку, страшая бросить одного на улице, если он хоть раз еще пискнет.

Такое расположение духа овладело ею не вдруг. В первую минуту, когда строгий барин сунул ей в ладонь бумажку, – она чуть не вскрикнула от радости; ей вдруг почему-то представилось, что барин, не досмотрев в сердцах, – подал ей трехрублевую ассигнацию; ее бросило в жар от неожиданного счастья; прежде чем в нем убедиться и из опасения, чтобы кто-нибудь не подсмотрел щедрой подачи, – она быстрыми шагами направилась в ближайший, более темный и тихий переулок; поравнявшись с первым фонарем, она обернулась спиною к тротуару и, делая вид, как будто поправляет ребенка, спавшего на груди, осторожно принялась развертывать ассигнацию; сердце ее билось в эту минуту очень сильно. Глаза ее, жадно следившие за движениями пальцев, раскрылись еще шире, когда, вместо ожидаемых трех рублей, увидела она бумажку, покрытую красноватыми и синими полосами...

Ей случалось видеть сторублевые ассигнации в то время, когда жила она в услужении у старого чиновника; но этому было уже десять лет назад. Выйдя вскоре после того замуж за портного, который напился в самый день свадьбы и с тех пор уже редко отрезвлялся, она не видала других денег кроме мелочи; – да и ту приходилось часто получать с прибавкою колотушек. Оставшись после смерти мужа с целой оравой детей (она не обманула Араратова; дома действительно было еще трое, из которых один лежал больной), – ей поневоле пришлось прибавляться подаванием; с детьми никто не соглашался взять ее в услужение.

Первою ее мыслью после того, как осмотрела она бумажку – было, что сердитый барин, должно быть, посмеялся над нею... «А ну как бумажка-то в самом деле настоящая, и барин дал ее только по ошибке?...» – пришло ей тотчас же в голову. Справиться об этом было очень легко: стоило зайти в первую встречную лавочку. Не сделав однако ж пяти шагов, она снова остановилась. Она подумала, что если деньги настоящие, – никто не поверит тому, как они ей достались; ее наверняка остановят, пошлют за полицией и Бог весть, что тогда будет, – не разделаешься! – «Нет, лучше уж убраться скорее домой на Выборгскую, в свой угол, дожидаться завтрашнего дня, – продолжала она рассуждать сама с собою, – авось найдется добрый человек, не обманет, скажет правду, научит, где и как вернее разменять деньги...» Ей живо представилось все, что можно будет сделать: завтра же переедет она на другую квартиру, накормит детей, больного свезет к доктору, купит ребятишкам теплую одежку; себе также надо кое-что приспособить: тулупчик совсем износился; вот также и обувь: валенки на ногах стали разваливаться. Но мечты эти не были продолжительны; они скоро сменились горьким сознанием, что и там, на Выборгской, произойдет то же самое: и там точно так же никто не поверит ее рассказу; начнутся расспросы, пересказы, – мало ли завистников чужому счастью! – толки, без сомнения, дойдут до городского, тот сейчас же поведет ее в квартал. Ее теперь уже, может быть, разыскивают; строгий барин, как увидел свою ошибку, наверное послал объявить об этом в полицию...

Простояв неподвижно несколько секунд, она бережно сложила бумажку, перенесла ее в левую руку, державшую ребенка, – и свободною рукой совершенно неожиданно несколько раз

перекрестилась. Решившись, по-видимому, на что-то, она ускоренным шагом обогнула угол переулка, вышла на большую улицу и с озабоченным видом стала оглядывать дом с большим подъездом, в который вошел строгий барин.

С этой стороны фасад дома резко отличался от фасада соседних домов, служивших ему продолжением; почти из каждого окна выходил свет, местами весело мигали бесчисленные огоньки елок, за стеклами везде заметно было движение, отвечавшее оживлению тротуаров и улицы. Дом строгого барина, с его большими темными окнами, запертым подъездом, производил впечатление чего-то угрюмого, покинутого, бездушного. Нищая вернулась в переулок. Убедившись, что первые ворота за углом принадлежали темному дому, она в нерешительности остановилась перед ними. Дежурный дворник однако ж отсутствовал, и калитка была отперта. Нищая перекрестилась еще раз и вошла.

Двор был пуст, хотя и казался оживленнее фасада: в нижнем этаже резко выделялись три ярко освещенных окна; в одном из них зажженная елка бросала полосу света, проходившую по снегу через весь двор; за стеклами виднелисьдвигающиеся люди, слышались восклицания, по временам глухо раздавался хохот. Ближе выделялось еще несколько освещенных окон; лампа, привешенная к потолку, бросала яркий свет на белый длинный стол, и в полусвете, на задней стене, вытягивался ряд блестящих кастрюль.

При входе на двор нищая остановилась, услышав громкий говор нескольких голосов; он раздавался за небольшим окном, освещавшим снежную мостовую почти у ног женщины; не успела она осмотреться, как низенькая дверь подле окна отворилась – густой клуб пара взвился на воздух, – и вслед за тем, точно из земли, стал вырастать человек в шершавой бараньей шубе и такой же шапке.

– Ты зачем!?. Чего тебе?... – крикнул он, торопливо взбираясь на ступеньки, соединявшие низенькую дверь с мостовой.

– Батюшка... – начала было женщина.

– Вон! бесстыжие твои глаза! Вон ступай!! – подхватил он, становясь перед нею и принимаясь размахивать руками.

– Пстой, батюшка... дай слово сказать...

– Как же, стану я тебя слушать! Проваливай! Проваливай!! Ты, пострел, чего заорал? – обратился он неожиданно к мальчику, который вдруг заплакал, припав к юбке матери.

Дворник готовился уже ухватить женщину за шиворот и вытолкать ее вон, – но в эту минуту маленькая дверь снова распахнулась, выпустив новый клуб пара, и на пороге ее показались два человека.

– Что тут? – спросил один из них.

– Батюшка! – торопливо заговорила нищая, делая шаг вперед, – послушай меня... Пришла я не за каким худым делом!.. Барин, который здесь живет... Да... Шла я так-то по улице, повстречался он мне, я попросила на хлеб... Он подал мне... подал, да, должно быть, обознался, – темно было, – дал мне бумажку в сотню рублей...

Оба человека, из коих один был в синей поддевке, надетой на красную рубашку, – поднялись по ступенькам и подошли к женщине.

– Ты, тетка, смотри не ври, – здесь врать не приходится; как раз угодишь – знаешь куда!.. Толком рассказывай, какая такая бумажка? Покажь ка ее...

– Покажу, батюшка, дай в комнату войти... Мальчик-то озяб больно... Боюсь я, барин ваш догадался, что обознался, в квартал дал знать...

– Ох врешь, тетка... Сдается мне, – врешь! – заметил второй мужик.

– Вестимо врет! – проворчала баранья шуба.

– Батюшки! верите вы святому кресту... Вот! – торопливо заговорила женщина, принимаясь креститься, – ныне праздник святой... возьму ли грех такой на душу... Я затем пришла к барину вашему, хочу деньги отдать...

– Что за притча!.. – проговорила поддевка, – надо быть, правду говорит... Пойдем, коли так... Ступай за мной!.. – добавил он, направляясь к кухне.

Там нашли они молодого лакея, который возился подле чашек, и еще поваренка. Человек в поддевке, оказавшийся старшим дворником, передал в коротких словах рассказ женщины и просил доложить о случившемся «генералову камердинеру».

Минуту спустя в кухню суетливо вошел знакомый камердинер; за ним выступала жена его; за ее плечами показались, с одной стороны: раскрасневшееся лицо весельчака, с другой – розовые банты на чепце тетушки; за ними мелькнуло еще несколько голов. Любопытство изображалось на всех лицах; задние гости не успели еще протискаться в кухню, как уже камердинер, недоверчиво поглядывая на нищую, приступил к расспросам.

Робко, запинаясь почти на каждом слове, она повторила свой рассказ, прерываемый возгласами удивленья и замечаниями присутствующих.

На приглашение камердинера показать бумажку, – она тотчас же согласилась, но ни за что не решалась выпустить ее из рук и крепко держалась за один из ее углов двумя пальцами.

– Отдам ее только самому барину, – только ему одному, – повторяла она, – может, тогда милость его будет – даст что-нибудь... У меня, батюшка, еще трое таких дома осталось... голодные сидят... – прибавила она глухим голосом.

– Делать нечего... – сказал камердинер, обратясь неожиданно к молодому лакею. – Ваня, подымитесь вверх; барин рассердится, но случай такой особенный... Доложите ему...

IV

Сановник Араратов давно между тем успел устроиться в своем кабинете. Он сидел в вольтеровских креслах перед камином с горевшими угольями.

Высокая лампа, прикрытая зеленым зонтиком и поставленная на край длинного письменного стола, позволяла читать, сидя в креслах и вытянув ноги к камину: она в то же время освещала ближнюю часть стола с разложенными аккуратно кипами бумаг. Все отличалось здесь изумительным порядком: ни один угол бумаги или книги не выступал против другого; самые карандаши, мельчайшие письменные принадлежности лежали правильными, симметрическими рядами с каждой стороны совершенно гладких столовых часов из черного мрамора, возвышавшихся против серебряной чернильницы строгого, прямолинейного характера. Множество бумаг было заложено в синие обертки с каллиграфически выведенными надписями: «к Докладу», – «к Решению», – «к Подписанию», и т. д.

Свет на столе и круг света от лампы на потолке, соединяясь с зеленоватым отражением зонтика, сообщали ближайшей части длинного кабинета мягкий полусвет, в котором обозначались по стенам сплошные шкапы с книгами; дальше, – от стола и камина до уборной, – свет постепенно ослабевал, тушевался сумерками и под конец превращался в глухой сумрак.

Вокруг было совершенно тихо: слышалось только, как иногда обваливался уголь в камине или раздавался жесткий шелест листа из официального доклада, который просматривал Араратов.

Доклад требовал, надо полагать, усиленного умственного напряжения; после каждой почти страницы Араратов отрывал глаза от бумаги, опускал голову на ладонь и задумывался. Одно время голова его как-то особенно долго не приподымалась, – даже глаза зажмурились...

И вдруг, – вдруг увидел он себя перенесенным в необозримое степное пространство... Над ним, низко, низко, из конца в конец, стелется сумрачное как копоть небо. Далеко, на самой уже окраине, вырезывался багровый диск угасающего солнца; красноватый его отблеск, скользя по стенным неровностям, убегал все дальше и дальше как мелкая зыбь океанского отлива; с противоположной стороны степи все гуще и гуще между тем нарастала и надвигалась ночь. Все наконец заволочлось непроглядной темнотою.

Но не так еще страшна была эта ночь, как страшна казалась Араритову мертвая тишина, его окружавшая; внутренний голос подсказывал ему, что не только там, за дальним горизонтом, но за целые тысячи и тысячи верст кругом не было даже надежды встретить живое существо, встретить человека, который мог бы прийти ему на помощь, избавить его от нестерпимой тоски одиночества, которая им вдруг овладела... Хоть бы отклик какой, хоть бы звук чего-нибудь одушевленного... Но нет! Вокруг пустыня, и он один посреди нее, – совершенно один... В ужасе Араратов бросился бежать, – но в ту самую минуту листы доклада выпали из его рук на ковер, и он проснулся.

Подобрав наскоро листы и положив их на стол, он стал ходить по кабинету ускоренными шагами.

Он близко напоминал теперь человека, который только что освободился от вздорного, докучливого посетителя и хочет подавить в себе такую неприятность. «Всему виной скверный клубный обед и этот форшмак...», – старался уверить себя Араратов. Он сознавал очень хорошо, что обед и форшмак несколько тут не виноваты, и то, что ему пригрезилось, и тяжелое чувство, которое затем последовало, не имеют с ними ничего общего; но его гордости и высокомерию легче было, по-видимому, подчиниться действию скверного обеда, чем признать над собою влияние бестолкового сна и отдать себя под власть малодушному чувству. Усилия победить его были однако ж напрасны; оно ни за что не хотело отпустить его, – точно присосалось к нему.

Он подошел к окну и отдернул портьеру.

Широкая и длинная улица, открывавшаяся перед его домом, сохраняла свою прежнюю праздничную наружность; тротуары были переполнены народом; везде развевались пестрые флаги; во все концы неслись кареты и сани; свет фонарей, плошек и окон, между которыми, то тут, то там, в разных этажах, горели елки, – придавал всему какой-то особенно приветливый, веселый вид, редко встречаемый в Петербурге.

Но улица, с ее движением, не вызвала даже улыбки на лице Араратова; оно как будто стало еще угрюмее. Веселость, впрочем, всегда производила на него отрицательное действие; он относился к ней как к чему-то ограниченному, недостойному серьезного делового ума; он никогда не смеялся – исключая разве тех случаев, когда смеялись очень уж высокопоставленные лица и волей-неволей требовалось оправдать их веселость и выказать ей некоторое сочувствие.

Он и теперь попробовал было взглянуть на все происходившее перед глазами с видом обычного пренебрежения; – попытка однако ж не удалась; сдвинутые брови, судорожно сжатые губы ясно указывали на бесполезность подавить внутреннее чувство горечи и сознание одиночества, которые так непрощенно вторглись в его жизнь.

Он опустил портьеру, прошелся несколько раз по кабинету, думая отогнать навязавшуюся мысль; – но нет! – мысль об одиночестве не только не проходила, – но, напротив, еще с большим упорством к нему привязывалась.

Он готовился снова опуститься в кресло и завладел уже недочитанным докладом, – когда кто-то неожиданно постучался за его спиной в боковую дверь кабинета.

– Кто там? – произнес он, сдвигая брови и удивленно оборачиваясь в ту сторону.

Дверь приотворилась, и на пороге показалась оторопелая фигура во фраке и белом галстуке молодого лакея.

– Чего тебе? – резко спросил Араратов, – я приказывал никого не принимать? ты разве не слышал?..

– Там... ваше превосходительство... с заднего крыльца... пришла женщина... – мог только произнести оторопевший слуга.

– Женщина!.. Какая женщина?..

– Нищенка... должно быть... с детьми... ваше превосходительство...

– «Вот помогай им после этого! Какая неслыханная дерзость!!» – мелькнуло в голове Араратова, не сомневавшегося на секунду, что дело шло о той назойливой женщине, которая приставала к нему на улице.

– Что же ты стоишь. – обратился он к лакею, – сказать швейцару, чтобы ее тотчас же вон выпроводили; – ступай!

Выходка нищей, на минуту и против воли сановника, остановила его мысль на этом предмете. – «Помогать этим людям – то же, что поощрять их к попрошайничеству и тунеядству! и сколько хитрости: подсмотреть, где я живу; подметить вход с заднего крыльца... Какая наконец дерзость: ворваться куда же, – ко мне! в мой дом!!».

Араратов был прерван на этом месте своих размышлений новым стуком и в ту же дверь:

– Войди! – чуть не крикнул он, – что там еще?..

– Ваше превосходительство... женщина не хочет никак уходить... Мы ее не раз отгоняли... Она говорит: изволили вы ей дать какие-то деньги... она говорит: их возвратить надобно...

– «Возвратить деньги... мне? Что за вздор!.. Нет, это, однако, уже слишком!.. И наконец... наконец становится любопытным...» – заключил про себя Араратов. Обратясь к лакею, он спросил его, точно выстреливая из пистолета:

– Где эта женщина?..

– В кухне, ваше превосходительство...

– Сейчас же привести ее по задней лестнице в буфетную!..

Араратов отличался умением сдерживать порывы негодования, считая их нарушающими достоинство в известном положении; – но в настоящую минуту, то, что могло быть свидетелем его раздражения, – и люди его, и эта женщина, – не стоили, конечно, того, чтобы перед ними стесняться. Он чувствовал себя к тому же в этот вечер почему-то особенно нервным и возбужденным. Он направился в буфетную, как только пришли доложить, что приказание его исполнено.

Араратов не ошибся: перед ним стояла женщина, встреченная им на улице. Она, как и тогда, поддерживала на груди закутанного в тряпье ребенка; другой ребенок, – тот, который похож был на медвежонка, – крепко теперь ухватившись за юбки матери, пытливо, не моргнув глазом, выглядывал из-за них на появившегося внезапно господина.

– Что это, ты, матушка, – шутить что ли вздумала?! – возвысив голос, проговорил Араратов, не взглянув даже на двух лакеев и курьера, стоявших на вытяжке подле задней двери. – Чего тебе еще надо? Как ты осмелилась, наконец?..

– Ваше сиятельное превосходительство... – заговорила окончательно растерявшаяся женщина, – пришла я... Пришла... Вот изволите видеть... вы тогда, стало быть, не изволили досмотреть... по ошибке, ваше сиятельство, подали... вот самую... эту бумажку... самую... – заключила она, протягивая дрожавшею рукой сторублевую ассигнацию.

– Так что ж? ты хочешь, чтобы я назад ее у тебя взял! – произнес Араратов более удивленно, чем строго, – раз она тебе дана, – можешь взять ее...

Лицо женщины вытянулось, глаза и рот раскрылись; прошло несколько секунд, прежде чем могла она опомниться.

– Как, ваше сиятельство?! всю бумажку?... все деньги мне жалуете?! – вскрикнула она, вперя изумленный взгляд в стоявшего перед ней строгого барина; и прежде чем успел он сказать слово, подхватила рукою грудного ребенка и, захлебываясь от слез, стала опускаться на колени.

– Перестань, перестань, матушка! Я этого не люблю, слышишь, не люблю! – нетерпеливо сказал Араратов, пятясь назад, – уведите ее! – повелительно обратился он к слугам, которые бросились подымать ее и в поспешности стукнулись головами.

V

Но и этот случай, несмотря на свою неожиданность, не мог развлечь Араратова, не в силах был заставить его забыть впечатления минувшего сна. Оно тотчас же возвратилось, как только вошел он в кабинет и занял прежнее место перед камином.

Его тяготило теперь не столько чувство одиночества, – сколько желание доискаться основной причины, выяснить себе самый факт, – именно факт, потому что, несмотря на свою гордость, не мог он отрицать, что факт его полного одиночества действительно существует. Он испытывал его уже не первый раз, но сколько себя помнил, никогда еще не пробуждало оно в нем сцепления таких странных мыслей. Он думал между прочим, что если б вдруг произошло с ним несчастье, – все может случиться! – если б, например, стал он умирать, – и этой неприятности рано или поздно дождешься! – нашелся ли бы кто-нибудь из тысячи его знакомых, кто истинно пожалел бы о нем... нет, не пожалел... зачем же это!.., он не нуждался, слава богу, ни в чем сожа-леньи! – но хотя бы принял в нем некрепкое участие. Ему, конечно, будет выказано тогда со всех сторон самое лестное внимание; сотни лиц ежедневно будут записываться в швейцарской; но, нет сомнения, все явятся, – кто по обязанности, кто из приличия... Вопрос весь в том между тем: будет ли хоть один в самом деле близкий, такой близкий, который подошел бы к нему с чувством верного испытанного друга?.. «Нет, такого не будет!» – подсказал Араратову внутренний голос.

– «Отчего же так однако ж? Отчего?!» – чуть не сорвалось у него с языка; но чувство собственного значения снова удержало его вовремя от восклицания; он ограничился мысленным предложением такого вопроса. «И в самом деле, – продолжал он размышлять сам с собою, – не все ли было сделано, – начиная даже с юности, – чтобы сближаться с людьми, приобрести их сочувствие, – даже признательность?! С этой целью старания его всегда были направлены к тому, чтобы предупреждать желания, беречь пуще глаза чужое самолюбие; быть безупречным в благодушии, – в том, что называют французы: «la bienveillance», т. е. – быть всегда снисходительным, стараться даже оправдывать то, что, по личному убеждению, вполне отвратительно; искать всегда случая быть полезным, изобретать даже такие случаи в минуты надобности; изодрать себя в способах быть необходимым, – стараясь сохранить при этом собственное достоинство, но в такой мере однако ж, чтобы оно не имело вида высокомерия в глазах лиц, сильно проникнутых тем же чувством; короче сказать, делать все, что следует, что издавна принято и установлено законами света для приобретения общего расположения и уважения».

«Не только не изменил он образа своих действий после того как, укрепившись на высотах иерархической лестницы, мог дать им более бесцеремонное направление, – но счел еще нужным расширить свою программу, присоединив к ней столь редкие в наше время щедрость и великодушие. Сколько было переделано добрых дел, сколько благодеяний, сколько существенных услуг, сколько лиц, которым оказана была, помощь, – лиц, которые стали на ноги благодаря тому только, что были им определены в должность... Далее, заручившись властью и окончательно разбогатевав, он действиями своими, казалось бы, должен был приобрести еще больше прав на общественную и личную признательность: продолжая трудиться с тем же рвением на пользу общества и отечества, он покровительствовал изящным искусствам (покупая то и дело у Кнопа и Юнкера различные бронзовые и форфоровые украшения), поощрял литературу (годовой его счет у Глазунова доходил часто до двухсот рублей, а счет у Вольфа и Мелье втрое иногда превышал такую сумму); поддерживал художества (статуй и картин у него, правда, не было, но зато все столы в парадных комнатах буквально были покрыты всевозможными фотографическими альбомами и иллюстрированными изданиями в богатейших переплетах); он поощрял в то же время вкусы другого рода: нанял превосходного повара, давал утонченные гастрономические обеды и завтраки, словом, – один только Бог ведает, чего не

делал он для людей, для общества... И что же? К чему привело все это в конце концов?!. В результате одна горечь неудовлетворенного чувства, холодное безучастие вокруг, — наконец, полное одиночество, невзирая на богатство и высокое общественное положение, — одиночество совершенно такое, как там, в той пустыне, которая только что ему пригрезилась...»

Он опустил голову на ладонь и задумался.

Так прошло несколько минут... И вдруг ему снова стало что-то мерещиться... Внимание его было теперь привлечено в отдаленную темную половину кабинета...

Там, в ее глубине, на самой середине, между полом и потолком, показалось белесоватое пятно света, — точно клуб пара, освещенный сзади, или мерцающий свет луны, заслоненный подвижным наволоком. Свет быстро однако ж выросстал, надвигался и, постепенно усиливаясь, распускал вокруг себя волнистые фосфорические окраины; в середине светлого мерцания, касавшегося уже теперь своими краями потолка, пола и боковых стен, выяснялся между тем прозрачный как кристалл и весь сияющий неземной красотой, человеческий облик... В глаза его точно вставлены были два крупные алмаза; они горели сверхъестественным блеском, и лучи от них вдруг озарили весь кабинет, нигде не оставляя темного пятнышка; даже в тех местах, которые должны были бросать сильную тень, — и там все внезапно посветлело и сделалось как бы прозрачным... В то же время Араратову послышался голос; он был ему совсем незнаком. Каждый звук отделялся отчетливо и ясно; голос звучал равномерно, бесстрастно, напоминая накат морских волн на ровный плоский берег.

Араратов хотел что-то сказать, приподнял голову, но, ослепленный лучами света, — опустил ее снова. Он попробовал отвернуться, но и это не помогло: свет бил уже отовсюду, все заливал, все пронизывал, — и казалось Араратову, проникал далее в него самого и в глубину его души — не оставляя и в ней точно так же темного уголка. Араратов чувствовал себя точно прикованным, лишенным сил и воли: у него сохранилось ровно на столько сознания, чтобы понять бесполезность борьбы против этих беспощадных лучей, перед которыми все расступалось, все как бы таяло, которые беспрепятственно всюду проникали, не стесняясь, по-видимому, никакими земными условиями, не признавая никаких установленных законов.

Перед Араратовым, между тем, все глубже и шире раскрывалось световое пространство. В нем показались сначала мириады темных подвижных точек; размножаясь с неимоверною быстротой, они сходились столбами — то опускаясь, то подымаясь, — как мошки в знойный вечер, — и вдруг, — словно сговорившись, стали отделяться, увеличиваться в объеме и складываться в то же время в какие-то смутные, неуловимые для глаза очертания...

Не успел Араратов одуматься, как уже в том, что казалось неопределенным, обрисовались человеческие образы и целые группы лиц, спешивших, по-видимому, установиться в известном порядке — как актеры перед поднятием занавеса во время парадного спектакля.

Араратов с первого взгляда узнал не только всех тех, с кем когда-либо встречался в жизни, но увидел между ними самого себя, — и что особенно его изумило, — увидел себя повторенным во всех возрастах и в одно и то же время в разных группах... Еще секунда, — и перед ним, — так же отчетливо, как на стеклах волшебного фонаря, развернулась полная картина его прошлого...

Смущение его увеличивалось особенно тем, что все, что проходило теперь перед ним, — и главное, — он сам с его заветными мыслями и чувствами, представлялись совсем не в том виде, который знаком был свету и которому, под конец, он сам начинал верить, — но с оборотной стороны, с той изнанки, которую прятал он так же старательно, как скряга прячет свои сокровища. Каждый миг из его прошлого открывал новые черты, и каждая, в свою очередь, обнаруживала, что Араратов лицевой стороны служил только внешней оболочкой совсем другому Араратову, не имевшему с первым почти никакого сходства...

Услужливый, скромный, простосердечный юноша, каким в свое время казался Араратов, — превращался теперь в юношу, который тогда уже холодно обдумывал каждый ход буду-

щей своей карьеры, у которого тогда уже тщеславие было единственным руководителем, а эгоизм единственным чувством... Араратов очевидно также сам себя обманывал, когда, мысленно рассуждая несколько минут перед тем, – величался своими великодушием и щедростью; в этом могли убедить теперь толпы убогих и бедных, выступившие неожиданно в глубине светлого пространства, и сам Араратов, проходивший мимо с таким видом, как будто не замечал их, – не удостоивая их даже взглядом... с противоположной стороны, между тем, как раз показались новые лица; они принадлежали к известному кругу великосветских, влиятельных благотворительниц; но здесь опять нельзя было узнать Араратова; важность походки исчезла; ее заменяли мягкие, скромные движения; почтительно склонив голову, любезно улыбаясь, – спешил он к ним, раскрывая еще издали свой бумажник...

Опять новые лица: перед Араратовым группа просителей; в их числе, – ему это очень хорошо известно, – находятся весьма полезные труженики; он высокомерно, дерзко всем отказывает... Просители исчезают... Вместо них неожиданно открывается рабочий кабинет Араратова с длинным столом, покрытым сукном и заваленным бумагами. Под сукном, – таким же теперь прозрачным, как все остальное, – бросается в глаза список с названием различных вакансий на казенные должности; до настоящей минуты этот список был для всех тайной; но тайны сквозят теперь, как стекло; Араратов не может уже скрыть, что берег этот список на те случаи, когда требовалось определять знакомых ему тунеядцев и этим угождать лицам, которые, в свой черед, могли быть ему полезны...

Новая картина: похороны. Скромны дроги и гроб и еще скромнее проводы; гроб провожает одиноко бедно одетая женщина; Араратов узнает в ней кухарку молодой девушки, которую он соблазнил и сделал матерью. Связь эта сохранялась в глубочайшей тайне; гордость и самолюбие Араратова возмущались при одной мысли, что кто-нибудь может заподозрить его в такой слабости и притом к женщине столь темного, низкого происхождения; на него уже неприятно действовало то обстоятельство, что она не умела держаться в благоразумных к нему отношениях, не довольствовалась его посещениями, но перешла границы и к нему привязалась. Из предосторожности, чтобы такое чувство, усиливаясь в ней постепенно, не вызвало сцен, способных его выдать, Араратов решил прекратить свою связь – как вдруг девушка объявила ему о своей беременности. Он немедленно послал ей денег и с того же дня прекратил свои посещения. Строжайшие меры были приняты, чтобы доступ ее к нему был невозможен; письма ее оставались без ответа. Он успокоился только спустя несколько месяцев, после того, как она разрешилась мертвым младенцем и тут же скончалась родами. Вид печальной колесницы и гроба привели на память Араратову весь этот случай; он не мог уже скрыть теперь, как в былое время, насколько обрадовался тогда счастливой развязке, с какой поспешностью послал денег на похороны и как, вместе с тем, счел несовместным в его положении следовать одиноко за гробом, по петербургским улицам, встречать взгляды любопытных, рисковать, может быть, натолкнуться на знакомых...

Картины из жизни Араратова, проходя таким образом, иногда быстро мелькали, иногда задерживались и даже ярче освещались. Так особенно долго держались и явственно выступили те случаи, когда он выказывал свои патриотические чувства, говорил о преданности своей к отечественным интересам. Всепроникающий свет лучей, открывавший изнанку чувств и мыслей, показывал, что Араратов и здесь точно так же лгал и лицемерил. На самом деле, он предан был только собственным интересам и занят был исключительно только самим собою. Его эгоизм не допускал даже мысли стеснять себя связью с чем бы то ни было, – хотя бы даже с отечеством. Составляя проекты о его пользе, он всегда думал в то же время, как бы скорее дожить до мая месяца, взять отпуск, набраться свежих сил в Виши или в Карлсбаде, уехать потом в Париж, и там, показывая строго озабоченный вид при встрече с соотечественниками, украдкой, тайком услаждать себя материальными плодами утонченной цивилизации; после чего

досадливо вспоминать о необходимости возвратиться в отечество и снова заняться измышлением проектов о его пользах!..

Рядом с более или менее видными событиями прошлого выдвигались вдруг иногда мелкие ничтожные случаи. Так осветилась неожиданно сцена, когда Араратов, быв уже сановником, приехал на станцию железной дороги и, забыв на минуту важность своего звания, разнес, с дерзостью выскочки, смотрителя станции, явившегося перед ним в фуражке. Когда почти-тельно объяснили Араратову, что при форме фуражка не сымается, – он не только не успокоился, но раздраженно потребовал, чтобы смотритель был немедленно лишен места за непочти-тельность; после того, как ему робко доложили, что смотритель беден и обременен семьею, – Араратов только фыркнул в ответ и досадливо отвернулся...

Но какие бы ни появлялись картины и сцены, куда бы ни проникали лучи света в прошлое Араратова, он всюду показывался не тем, каким ему хотелось, чтобы его видели; везде обнаруживалась только забота о себе самом, мелочность, высокомерие, эгоизм и лицемерие – и посреди всего этого ни одного искреннего движения, ни одной теплой задушевной черты...

VI

– Да, ни одного искреннего движения, ни одной теплой задушевной черты! – явственно раздалось в ушах Араратова. Ему снова послышался тот равномерный голос, который умолк было на некоторое время.

– Гордость и самооболение вскружили тебе голову, – продолжал голос, – ослепленный мелким, легко доставшимся успехом, ты вдруг поднял голову и самодовольно прищурился, не заметив далее, что не отстал в пошлости от тех, кто, заняв известное служебное положение, – начинают сейчас же считать себя и умнее и значительнее тех, которые этим не пользуются... Им, уверенным в себе, в своем превосходстве, рисуящимся величаво или глубокомысленно, говорящим резко или внушительно, им на ум не приходило что где бы они ни были, везде сыщутся острые наблюдательные глаза, от которых ничто не ускользает, которых не подкупает внешний облик величия и глубококомыслия...

Так и с тобой было. Лукавство и лицемерие помогли тебе в твоих тщеславных целях, но что касается людей, ты мог бы меньше стараться: ни то, ни другое не принесло ожидаемых результатов: никто почти не обманулся. Те самые, на простоту и доверчивость которых ты так самонадеянно рассчитывал, которые терпеливо сносили твое надменно дерзкое обращение и сгибались перед тобою, – скорее других тебя поняли; одни раньше, другие несколько позже, но всем равно стала знакома черствость твоего сердца, каменное равнодушие ко всему, что не ты, не твой личный интерес. В то самое время, когда, опьяненный мнимым своим величием, не допускал ты мысли о своей непогрешимости, тебя разбирали по косточкам, тешились над твоим высокомерием, основанным, – как уверяли, – всего на нескольких стах номерах исходящих бумаг, которые, как что-то мертвое, вышедшее из сухого, расчетливого мозга и без участия сердца, – скорее тормозили дело, чем давали ему жизнь. Единственно, что оставил ты людям – это твой взгляд на них как на средство; ты не замедлил сделаться для них тем же средством, – и с той минуты перестал существовать для них, – как перестает существовать для людей все то, что не связано с ними живой общечеловеческой жизнью...

Несколько минут тому назад ты жаловался на людей, обвинял их в неблагодарности, в холодном безучастии. Не правильнее ли было бы сознаться, – усмирив гордость, – что люди тут ни при чем; что сам ты во всем единственный виновник: и в той горечи неудовлетворенного чувства, и в тоске одиночества, против которой так усиленно борется твое высокомерие – и в том также, что сегодня, в этот самый вечер, когда от последнего бедняка до первого богача, когда от чердаков и подвалов до золоченых палат, – все более или менее радостны, всех более или менее соединяет семейное чувство и сердце более или менее смягчено любовью, – когда в них говорит теперь лучшее, что есть у них, – ты, невзирая на высоту своего положения и богатства, – ты, как отверженный, проводишь одиноко этот вечер, и сердце твое, вместо радости, полно тоски и горечи...

Не намек ли это на то, что ты обманулся в том, чему себя отдал, чего добивался с такой жадностью; что в жизни человека есть еще что-то такое, что было тобой просмотрено, – или вернее, – что само от тебя отвернулось, не найдя места в твоём сердце, переполненном, – еще с молодости и через край, – честолюбием и спесью...

Вот хоть бы сегодня, когда пришла эта женщина возвратить тебе деньги, – нашлось ли в тебе что-нибудь, кроме брюзгливого, презрительного удивленья?.. Пробудись в тебе, между тем, в эту минуту, чувство истинного сострадания или милосердия, – хотя бы проблеск одного из этих чувств, – и уже это немного больше бы значило всех твоих хвастливых пожертвований... Но и этого немногого не нашлось у тебя... Ты спешил отдать ей деньги; – но отдели правду от неправды, то, что есть, от того, что кажется, – в твоей поспешности не участие было, нет! Было только желание скорее выпроводить эту несчастную, оскорблявшую своим видом

твой утонченный вкус, казавшуюся непотребным пятном посреди роскоши твоего дома... Надменно, брюзгливо, как на прах под ногами, смотрел ты на бедное, голодное существо, – между тем как этот прах, эта самая женщина, стоявшая перед тобою в смущенье, с бившимся сердцем, со слезами на глазах, растроганная до глубины души, не смевшая далее высказать вполне своей благодарности, в силу этих самых чувств, была как человек, – неизмеримо выше тебя перед лицом истины, для которой не существует земных мелочных отличий.

VII

Араратов судорожно вздрогнул и весь бледный быстро поднялся с места. Он похож был на человека, который неожиданно упал в воду и так же неожиданно из нее вынырнул; но это продолжалось недолго; он выпрямился, оглянулся вокруг и окончательно овладел собою, увидев, что все было на своем месте и в обычном порядке.

Он прошелся несколько раз из конца в конец кабинета, отирая платком влажный лоб и потряхивая головой, как бы стараясь отогнать докучливую муху, и машинально подойдя к окну, распахнул портьеру.

Улица почти уже стихла; горели только обычные фонари; изредка проезжал извозчик или карета; в двух местах мерцали еще догоравшие елки.

Тишина улицы сообщилась, казалось, Араратову. Он прошелся еще раз или два, вступил в уборную, позвонил камердинера, дал себя раздеть, не проронив, по обыкновению, слова, — и лег в постель.

Долго, однако ж, не мог он заснуть; он ложился на один бок, переваливался на другой, укладывался на спину, — ничего не помогало. Он не помнил, чтобы когда-нибудь происходило с ним что-либо подобное. Несколько раз старался он привести себе на память клубный обед и этот скверный форшмак, — но тут же отгонял такую мысль, как что-то несообразное, и переходил к другим воспоминаниям... Он, наконец, стал забываться, провалился как будто куда-то и заснул.

На следующее утро Араратов сидел в обычный час в кабинете и только что успел откушать чай, как вошел к нему его домашний доктор.

Доктор этот, — известный психиатр, — был маленький худощавый человек с большой, несоответственно росту, головой и лицом восточного отпечатка, оживленным, быстрым, пронизательным взглядом; было также что-то острое, саркастическое в его тонких подвижных губах.

— Как изволили почивать, ваше превосходительство? — спросил он, усаживаясь на указанное ему кресло.

— Скверно, доктор, очень скверно... Почти вовсе не спал... — возразил Араратов.

— Утомлены были вчера?..

— Нисколько!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.